КАВАЛЕР

Летом к нам, на окраину Вятки-города, на тихие, не знавшие асфальта улочки, непременно наведывался приемщик вторсырья. Дома тут располагались частные, с огородами и дровяниками, да бревенчатые отемнелые заводские бараки, с сараюшками, которые, казалось, сразу построили с инвалидным наклоном. А где больше всего барахла? –   
именно под кровом таких подсобных построек, имевшихся здесь в избытке. Да на чердаках…

Звали приемщика Кузьмой. За глаза некоторые кликали его с унизительной простотой – Кузя. «И когда Кузя приедет? За зиму стоко хламу накопилось. Сбагрить ему подчистую…» Но в лицо его величали уважительно, а то и вовсе с почтением, как учителя, Кузьмой Тимофеевичем.

Профессию его тоже называли всяк на свой манер. Чаще всего – утильщик. Помимо приемщик, иногда – сборщик; некоторые – почему-то барахольщик, а как-то раз мы услышали от старой седой очкастой тетки заумное и заковыристое: «Мануфактурщик».

Привозила Кузьму на точку раздрызганная, вечно пыльная, с вихляющимися, грохотливыми бортами полуторка – будто вытащенная откуда-то со свалки. Привозила груженного всякой всячиной, и Кузьма разбивал пункт. На земле устанавливал широкие железные планшетные весы, а поблизости раскладывал и развешивал товар, который в магазинах днем с огнем не сыщешь. Место обустраивал самым заметным, крикливым образом, чтобы подвигнуть народ любого возраста к сбору и сдаче утильсырья. На вытянутый шпагат вдоль ближнего забора развешивал женские платки с красными цветами, коврик с рогатым оленем, махровые клетчатые полотенца, покрывало с тощей узкоглазой китаянкой, несущей кувшин с водой; и обязательно – гроздь ярких, в разноцвет, воздушных шаров, которые и магнитили нас, мальчишек, призывая и принуждая к сбору макулатуры, металлолома и тряпья, – при виде этих шаров руки так и чесались уволочь что-нибудь, что плохо лежит…

Расплатиться за вторсырье Кузьма мог не только товаром, но и деньгами: две копейки за кило металлолома, четыре – за кило старых газет, но деньги – медяшки да бумажки – мало кто брал, женщины зарились на вельвет, тюль да на крепдешин, редкостный в магазинах, или отмеряли черного сатина, из которого шили трусы; мужики приглядывали ходовую половую краску и сурик для крыш, хозяйственный инвентарь, а иногда те и другие брали дребедень: прищепки, глиняную расписную свистульку или книжку-раскраску.

Однажды мы с братом надыбали в собственном сарае и на вышке не годящегося для дела лома: ржавый-прержавый молоток, амбарный замок без ключей, воротные петли от каких-то древних ставень, велосипедную облезлую изувеченную раму, чугунок литров на пять-шесть. Дабы провести утильщика и выторговать у него побольше товару, в чугунок мы положили пару увесистых булыжников, насыпали в придачу сырого – чтоб потяжельше и поплотнее – песку, а сверху, чтоб прикрыть подвох, навалили ржавых гнутых гвоздей, болтов, шайб и гаек.

Все свое богатство за пару ходок мы приволокли Кузьме и воззрились на его смуглые скулы, чтобы он поскорее начинал обвес и оценку нашему сырью. К принесенному нами железу Кузьма особого интереса не проявлял, перевешивал равнодушно, толкнет ногтем по металлической блестящей плашке гирьку, назовет вес и щелкнет костяшками больших деревянных счет, которые тоже неизменно держал под боком. Добравшись, однако, до чугунка, Кузьма что-то заподозрил: то ли порядочный вес его смутил, то ли прочитал в наших лицах волнение. Он снял чугунок с весов и приказал:

– Вывалите! Чего там у вас?

Мы с братом мялись, не хотели собственными руками вытряхивать наружу свое жульничество… Кузьма терпеливо ждал. Мы стояли истуканами, глядели на него исподлобья. Наконец Кузьма сам нагнулся, опрокинул чугунок; вместе с гвоздями и гайками оттуда высыпался песок, вывернулись из него серые бока булыжников. Мы нешуточно струхнули, даже переглянулись и подумали: не дать ли дёру – как бы не всыпал нам утильщик, а еще хуже не добрался бы с жалобой до наших родителей. Но до слез было жаль «честного» утиля! Да и угрозливости и злобы Кузьма не проявлял. С рабочей простотой он высыпал весь песок из чугунка, булыжники отшвырнул в траву, в канаву, и кивнул на железяки:

– Гвозди и болты обратно. И на весы!

Мы мгновенно исполнили его приказ – теперь уже чистоплотный чугунок красовался на приемке. Кузьма присел на корточки, потолкал гирьку по плашке и опять щелкнул деревяшками на счетах. Сказал спокойно и убедительно:

– Песок и камень мы не берем. Нам только металл нужен.

На причитающиеся нам деньги мы набрали товару: по свистку, коробку цветных карандашей, а главное – переводных картинок, которые были тогда в большой моде.

Рассчитавшись с нами, Кузьма, за неимением других клиентов, сел на куль с тряпьем и закурил папиросу. Мы не торопились уходить от него, после его снисходительного отношения к нашему обману мы имели особенное право потереться возле пункта приема и кое о чем попытать Кузьму, – хотя был он немногословен и досужих рассказов от него мы не слыхали.

В ту пору – конец пятидесятых – не принято было у старших молоть языком, рассказывать правду и неправду о недавно минувшей войне, выставлять на показ и святость освободительной борьбы, и жестокость, и мерзость неизбежного смертоубийства. Не принято было носить и награды, увешивать грудь не только разными цацками, юбилейными медальками и значками, но и боевыми наградами. А Кузьма никогда, казалось, не снимал со своего старого, облоснившегося, темно-коричневого пиджака две награды, две звезды: одна – цвета меди, другая – под серебро, обе с одинаковыми оранжево-черными ленточками.

– Это не медали, ребята. Ордена Славы, – отвечал на наш вопрос Кузьма. – Их давали исключительно солдатам. За подвиг. Самые высшие награды… Это, – он указывал желтоватым от табака пальцем на звезду медного достоинства, – орден третьей степени, а этот, серебристый – второй. – Он сделал затяжку, прищурился. – Мне ведь и первой степени хотели дать. Документы не успели оформить, бомба в штаб попала. А то был бы я полным кавалером ордена Славы. Это даже выше, чем Герой Советского Союза. Почету больше.

О достоинствах и почетности воинских наград мы с братом имели представления покуда примитивные, нам-то высшей солдатской наградой казалась медаль «За отвагу» с выбитым танком на серебристом кругляше, но про Героя Советского Союза мы, конечно, слышали, – и знали, что выше-то их по подвигам не может никто другой сравниться, никакой «кавалер». Причем слово «кавалер» казалось каким-то несерьезным, насмешливым, ну вроде как «Кузя» для имени Кузьма. Кавалер – это некий ухарь, фраер (это слово мы тогда уже знали), который начистил сапоги, заломил фуражку и пошпарил на вечерку плясать с девками, которые лузгают семечки.

Мы внимательно вглядывались в ордена Кузьмы и невольно прикидывали, какой может выйти из него военный герой с двумя подвигами и с еще одним подвигом, который не засчитали, потому что разбомбили штаб. Был Кузьма щупловат, пиджак сидел на нем мешковато, невысок ростом, шея худая, и лицо такое простое, что попадись прохожий с таким лицом, взглянешь на него как на обычный куст акации, которая растет возле дороги.

Про подвиги, даже имея к этому любопытство, мы Кузьму не расспросили, не удалось: к утильпункту пришла седая тетка, та самая, которая называла Кузьму по-умному «мануфактурщик», принесла куль какого-то барахла и старый небольшой ковер, свернутый в трубочку; нам она шибко не нравилась, и мы ретировались… Да, по правде-то, мы и не поверили словам Кузьмы. Разве мог он совершить боевые подвиги на фронте, а потом стать утильщиков и промышлять разной рванью и рухлядью?! Мы подумывали даже, что награды, а может быть, и пиджак вместе с наградами он у кого-нибудь выторговал за свой редкий товар; он утильщик, и такой, редкий, товар ему положен для обмена.

Много лет спустя, работая в архиве одного из вятских военкоматов, я наткнулся на личное дело рядового красноармейца Кузьмы Тимофеевича Изместьева, фотографии в деле не было, так что сразу определить, тот был Кузьма или не тот, возможности не представлялось. Но наградные документы свидетельствовали, что он дважды кавалер… Даже нашлось представление еще на один, «золотой», орден Славы, который Кузьма Тимофеевич так и не получил при жизни. Орден по сей день хранится в военкомате, передать его некому, так как близких родственников у Кузьмы Тимофеевича не оказалось; семьей после войны он не обзавелся, довоенная семья – жена и дочка – скончались от тифа; его мать Клавдия Николаевна умерла рано, в 49-м, а отец Тимофей Изместьев и двое сыновей (братьев Кузьмы) погибли в годы войны на разных фронтах.

…И все же вопрос о фронтовых подвигах мы с братом Кузьме задали, в очередной его приезд.

– Да какие подвиги, ребята, – отмахнулся Кузьма. – Всякий, кто воевал, подвиги делал. В разведку ходил, реку форсировал, дом штурмом брал…

– Ну хотя бы самый главный подвиг, – не отступали мы.

Кузьма недолго подумал, ответил на полном серьезе:

– Главный подвиг? Я за свой главный подвиг ни медали, ни ордена не получил… Я картину спас.

– Картину? – удивились мы.

– Да. Был такой художник Айвазовский… Так вот однажды, мы тогда Крым освобождали, горел дом. Красивый такой дом, с колоннами, музей какой-то… А возле него баба мечется. Кричит: там же Айвазовский! Кто такой Айвазовский, я тогда не знал. Думал, мужик какой-то в огне погибает. Спрашиваю: где твой Айвазовский? Она мне: «У рояля, на втором этаже!» Я и бросился в дом, в самое полымя… Рояль нашел, дым кругом, а никакого мужика нету. Тут-то я и сообразил, Айвазовский – это картина. Стащил полотно, оно не больно велико и было, чуть поболе метра в длину, – и обратно. Сам обгорел, плечо поранил, а картину спас. Баба, музейщица-то, вся в слезах от радости. Говорит мне: вас в веках будут помнить… – усмехнулся Кузьма.

– А чего на картине-то было? – спросили мы.

– Да я уж позабыл. Море вроде бы, камни, лодка какая-то. Этот Айвазовский, говорят, только про море и рисовал…

Кузьма достал пачку папирос, но закуривать не стал. Из-за угла ближнего дома вывернула тетка, толкающая тачку, на которой горой лежал всякий хлам.